

УДК: 821.161.1-82 Ахматова

ВЛАДИМИР КАЗАРИН

МАРИНА НОВИКОВА

(Симферополь)

«... ГРОЗНАЯ АНАФЕМА ГУДИТ» (ЗАГАДКИ ОДНОГО АХМАТОВСКОГО ВОСЬМИСТИШИЯ)

Ключові слова: А. А. Ахматова, М. М. Зоценко, М. Л. Лозинський, О. Е. Мандельштам, Б. Л. Пастернак, восьмивірш 1959 року, «анафема», інтертекстуальні/інтербіографічні зв'язки, «відлига», мотив пам'яті/забуття як життя/смерті.

Прелиминарії. В 1959 году А. А. Ахматова написала восьмистишие-экспромт, который Р. Д. Тименчик называет «комаровским наброском» и датирует 14 августа [19, т. 1, с. 175]. С 1980 года это стихотворение стало печататься:

Это и не старо, и не ново,
Ничего нет сказочного тут.
Как Отрепьева и Пугачёва,
Так меня тринадцать лет клянут.
Неуклонно, тупо и жестоко
И неодолимо, как гранит,
От Либавы до Владивостока
Грозная анафема гудит.

[2, т. 2, кн. 2, с. 34]

Нетрудно догадаться, что именно вспомнилось Ахматовой, что навеяло приведённые строки и почему однажды они будут опубликованы под коротким и тяжким (как удар топора) заглавием – «Анафема» [2, т. 2, кн. 2, с. 340]. Вспомнилось ей роковое «ждановское» постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах “Звезда” и “Ленинград”». В нём от имени партии уничижительной (и уничтожающей) критике было подвергнуто творчество прозаика М. М. Зоценко и поэта А. А. Ахматовой. В постановлении дана намеренно оскорбительная характеристика «литературной и общественно-политической физиономии» «писательницы Ахматовой», которая «является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии». «Её стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, “искусства для искусства”, не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодёжи и не могут быть терпимы в советской литературе» [5, с. 101].

Откуда и зачем прорвалась эта нарочитая, безапелляционная оскорбительность? Поищем ответ в последующих событиях.

15 августа секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Жданов прибывает из Москвы в Ленинград и делает доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград» на собрании партийного актива в Смольном. На следующий день с этим докладом он выступит на собрании ленинградских писателей и издательских работников. В докладе формулировки будут ещё категоричней и грязней. Оказывается, истоки творчества Ахматовой следует искать в литературе 1907–1917 годов, когда «значительная часть интеллигенции отвернулась от революции, скатилась в болото реакционной мистики и порнографии». Вот почему и современная «тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен диапазон её поэзии, – поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной». Её героиня – «не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой»* [6, с. 8–10].

После того, как Ленинграду в жёсткой форме были разъяснены литературные оценки, обусловленные новой политикой партии, закрутился отлаженный механизм исполнения принятых решений. 21 августа 1946 года постановление ЦК ВКП(б) было опубликовано в газете «Правда», а ещё через две недели Союз писателей СССР исключил из своих рядов М. М. Зощенко и А. А. Ахматову. Помимо всего прочего это исключение лишило их обоих права на получение хлебных карточек: карточки выдавались только «трудящимся».

Так зачем же всё-таки именно в 1946 году, именно в Ленинграде и именно на писателей обрушилась эта громкая, демонстративная анафема? Где искать её общие (а не только ахматовские) реальные (а не вымышленные) причины?

Скорее всего, искать их надлежит близко по времени, но далеко по расстоянию.

5 марта того же 1946 года в Вестминстерском колледже американского городка Фултона бывший (1940–1945) и будущий (1951–1955) британский премьер-министр сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль произнёс в присутствии 33-го Президента США Гарри С. Трумэна (уроженца этого города) свою знаменитую «Фултонскую» речь. В ней он обосновал необходимость новой, жёсткой политики по отношению к СССР и фактически объявил начало «холодной войны» между вчерашними союзниками по антигитлеровской коалиции. Сталин и его окружение к такому повороту были не только готовы – они сами его подготавливали и ждали. Как западная, так и советская система не могли существовать без внешнего врага. В отсутствие разгромленной Германии эту роль должны были играть для СССР США, для США – СССР. Между тем, советские люди за годы войны действительно «прошагали пол-Европы, пол-Земли», повидали обитателей и западноевропейского, и «трансатлантического» миров, попривыкали к иностранной музыке, к иностранным кинофильмам, к иностранным журналистам. «Встреча на Эльбе» была для них не дежурным масс-медийным штампом, а

*Броская эта формула родилась совсем не в докладе секретаря ЦК ВКП(б). Её происхождение становилось уже предметом специального внимания ахматоведов [18, с. 47–61].

частью их личной биографии. Так что они-то к подобному политическому «похолоданию» были решительно не готовы.

Отодвинулся в тень за время войны и горький опыт репрессий 1930-х годов. Люди успели накопить не только общенациональное, но и личное чувство гордости – чувство победителей. Ленинградцев-блокадников, чей героизм заслужил мировое сочувствие и восхищение, это касалось в особенности. Писателей – живой голос Ленинграда – оно касалось тем паче.

Очень точно эти настроения передает в своих воспоминаниях К. М. Симонов: «В конце войны, и сразу после неё, и в сорок шестом году довольно широким кругам интеллигенции, во всяком случае, художественной интеллигенции, которую я знал ближе, казалось, что должно произойти нечто,двигающее нас в сторону либерализации, что ли, – не знаю, как это выразить не нынешними, а тогдашними словами, – послабления, большей простоты и лёгкости общения с интеллигенцией хотя бы тех стран, вместе с которыми мы воевали против общего противника. Кому-то казалось, что общение с иностранными корреспондентами, довольно широкое во время войны, будет непредвзвешенным и после войны, что будет много взаимных поездок, что будет много американских картин – не тех трофейных, что привезены из Германии, а и новых, – в общем существовала атмосфера некоей идеологической радужности <...>. Во всем этом присутствовала некая демонстративность, некая фронда, что ли, основанная и на неверной оценке обстановки, и на уверенности в молчаливо предполагавшихся расширении возможного и сужении запретного после войны» [5, с. 104–105].

Страну следовало переучивать, а Ленинград и его творческую интеллигенцию – переучивать радикально. Достаточно известные, но совершенно не официозные писатели М. М. Зощенко и А. А. Ахматова вполне годились как предупредительный пример для приведения к покорности остальных. И лишь после этого в повестку дня встанет вопрос «очищения партийных рядов» – показательного разгрома партийного аппарата города. Для этого уже понадобится специальное расстрельное «ленинградское дело».

Скажем несколько слов и о том, какую тактику нападения на Ахматову выбрали неведомые нам люди из аппарата А. А. Жданова – те, что готовили не только само постановление, но и предваряющий его доклад секретаря ЦК ВКП(б). С точки зрения «воздействия на массы» доклад был едва ли не главным документом: не зря он дважды оглашался публично. Секретарю же лично нужно было любой ценой вернуть себе утрачиваемое доверие вождя. Поэтому он готов пойти на самые жёсткие карательные меры в отношении фигурантов постановления 1946 года, чтобы заслужить одобрение Сталина. Уж кто-кто, а А. А. Жданов – аппаратчик со стажем, возглавивший партийную организацию «города Ленина» после убийства С. М. Кирова, точно знал: «ленинградское дело» не просто задумано – оно начало претворяться в жизнь. Ему не нужно было гадать, что ждёт его, секретаря ЦК, биография которого была «подмочена» многолетним ленинградским стажем, когда начнутся кровавые расправы с партийными и советскими работниками СССР на всех уровнях и во всех регионах (вот уж точно – «от Либавы до Владивостока»), если те окажутся выходцами из «либеральной» северной столицы. Жил он в атмосфере смертельного ужаса. И совсем не случайно через два

года после публичной гражданской казни М. М. Зощенко и А. А. Ахматовой и за полгода до начала практической реализации «ленинградского дела» сам А. А. Жданов в возрасте всего-то 52 лет умрёт от «продолжительной болезни сердца» (формула официального некролога). А ведь по медицинским стандартам подбора партийных кадров хронических сердечников в секретари ЦК не избирали.

Итак, что же нужно было лицам, готовившим доклад, «разоблачить» в творчестве Ахматовой прежде всего, чтобы заручиться одобрением Сталина и поддержкой «широких масс советских трудящихся»? Присмотримся к ключевым словам текста ждановского доклада.

«**Будуар**». В словаре В. И. Даля это слово французского происхождения растолковывается так: «Дамский кабинет; комната, где светская женщина проводит день свой и принимает близких; хозяйская, теремок, светёлка, горенка. Будуарные шашни» [3, т. I, с. 136]. О чём говорит далевское толкование? Во-первых, о том, что объясняемое слово «широким массам» непонятно. Во-вторых, что оно для них «буржуазное». В-третьих, что оно ассоциируется с «шашнями», а значит, поддерживает тему «блуда», публично вменяемого в вину Ахматовой. Далее, слово это тонко подчёркивает ахматовскую «нерусскость» (и само слово, и обозначаемая им реалья пришли из Франции). Наконец, у «будуара» ещё и непролетарская семантика, это слово «чуждого сословия» (это кабинет «дамы», а дама принадлежит к «высшему свету»). Таким образом, само слово «будуар» – скрытое обвинение Ахматовой в 1) порочности, 2) нерусскости, 3) иносословности.

Сегодня понятно, что все эти хитроумные коннотации не имеют к поэту никакого отношения. К «свету» Ахматова никогда не принадлежала. В «будуарных шашнях», таким образом, участвовать не могла. Ахматовские предки не в одном поколении являлись верными гражданами своей страны. Не было у нашего поэта не только «теремков», но и обыкновенной собственной квартиры. Бездомье – одна из постоянных черт её жизненной судьбы. Мало того, что дом Ахматовой – это всегда «чужая» квартира; мало того, что и «её» комната ей не принадлежала. Вдобавок «дом» Ахматовой ещё и постоянно «кочевал» в зависимости от житейских перипетий хозяина (Н. С. Гумилёва, Н. Н. Пунина), или жены-хозяйки (И. Н. Пуниной), или всей их семьи (например, семейства Ардовых в Москве).

«**Моленная**». У В. И. Даля «моленная, моленная» – «особая комната в доме для молитвы; особое здание, помещение, для той же цели, по недостатку церкви, либо у иноверцев, у раскольников и пр.» [3, т. II, с. 342].

Тут нас тоже поджидают недоумения. И главное из них: кто же всё-таки составлял доклад для А. А. Жданова? Кто был тот неизвестный, который оказался столь сведущим (вплоть до нюансов) в «старомосковской» – религиозной и светской – терминологии? Счёт Ахматовой в докладе предьявлялся не как верующей. Этого в 1946 году делать было как раз нельзя. Сталин ещё продолжал свою военно-послевоенную игру с Церковью и Патриархом. Достаточно вспомнить, что совсем недавно было восстановлено само Патриаршество, вновь открывались закрытые прежде храмы, духовенство получало ордена и медали за участие в Великой Отечественной войне. Всё это также вызвало в обществе волну надежд. Поэтому счёт предьявлялся не

Ахматовой-«верующей», а «не нашей» верующей. «Не нашей» по нескольким признакам: она живёт по-иностранному, не любит молиться в церкви, чужда русскому «соборному» укладу, то есть она или раскольница, или сектантка.

О «расколе» следует сказать особо. После кончины в 1925 году Патриарха Тихона и до 80-х годов XX века раскол Русской Православной Церкви на «тихоновцев» и «сергианцев» был реальной и незаживающей раной. «Тихоновцы» заявляли о своём неподчинении Советской власти, развернувшей масштабный террор против религии и духовенства, и о принадлежности к «катакомбной» (т. е. подпольной) Истинно-Православной церкви (ИПЦ). «Сергианцы» (от митрополита Сергия Старгородского) составили основу «обновлённой» Церкви Московского Патриархата, а она, в свою очередь, избрала путь сотрудничества с новым государством, хотя официально не подчинялась ему. Всех, кто не соглашался с таким новым курсом церковной политики, митрополит Сергий объявил «раскольниками» и «сектантами», а советская власть – антисоветскими и антисоциальными элементами и «врагами народа» [24, с. 51].

В конце 1920-х годов в ИПЦ входила значительная часть верующих по всей стране, а роль её неформального центра играл как раз Ленинград. Полная невозможность для «тихоновцев» отправлять свои службы в действующих храмах вынуждала их собирать своих сторонников скрытным образом в самых разных помещениях – в тайных домовых храмах и «моленных». Впрочем, это было самой малой их бедой. Как враги советской власти, сторонники ИПЦ подлежали физическому устранению. Атмосферу этой борьбы передают воспоминания отбывавшего срок в лагере на Соловках в 1929–1931 годах академика Д. С. Лихачёва, принадлежавшего, как и многие представители ленинградской интеллигенции, к потаённой ИПЦ: «Духовенство на Соловках делилось на «сергианское», принявшее декларацию митрополита Сергия о признании Церковью Советской власти, и «иосифлянское», соглашавшееся с митрополитом Иосифом, не признавшим декларации. Иосифлян было большинство. Вся верующая молодежь была с иосифлянами» [10, с. 255].

С иосифлянами, судя по всему, была и Ахматова. В научной литературе уже собрано достаточно много материалов на эту тему: от записи П. Н. Лукницким её известного признания возле Никольского единоверческого храма ИПЦ в Ленинграде [12, с. 372; 22, с. 21] до свидетельств о посещении ею оптинского старца Нектария (Тихонова), благословившего поэта [см. 15; 17; 24]. После декларации митрополита Сергия старец Нектарий прямо призывал своих духовных чад переходить в ИПЦ.

Неведомый составитель доклада наверняка припас для своего патрона и соответствующие стихотворные иллюстрации ахматовской «неканоничности», вроде: «Молюсь оконному лучу – / Он бледен, тонок, прям». Вместе с тайной «моленной» такие строки мостили дорогу к «анафеме» со стороны властей. За самую принадлежность к ИПЦ полагалась 58 статья УК РСФСР – «участие в антисоветской подпольной организации», а статья эта предусматривала наказание от 10 лет лагерей. И всё же «анафема» готовилась и пострашней – со стороны «мнения народного».

«**Взбесившаяся барынька**». Следует задуматься над демонстративной грубостью формул, адресованных Ахматовой в ждановском докладе. Возможно, перед нами сознательный приём перехода на общедоступный, крепкий «язык масс» – приём, который будет потом широко эксплуатировать Н. С. Хрущёв. Однако Н. С. Хрущёв ни разу не был замечен в формульности своих выражений. Тем меньше владел он искусством пародии. Между тем, «взбесившаяся барынька» – это не элементарная грубость. Это злая пародия на два доподлинных лейтмотива лирического, литературного (и даже поведенческого, житейского) стиля Ахматовой. Первый лейтмотив – **безумие**. Оно подстерегало героиню Ахматовой в наиболее напряжённые моменты её душевной биографии. Вторым лейтмотив – **царственность, величие**. Оттого Ахматова никогда не выглядела ни вульгарной «фам фаталь» в молодости [см. 9, с. 34–36], ни вызывающей жалость «жертвой режима» в зрелости.

Из вписанной в доклад фразы о «взбесившейся барыньке» можно сделать несколько исследовательских выводов – разумеется, предварительных. У фрагмента из доклада, касающегося Ахматовой, было несколько целей. Цели общие – припугнуть ленинградцев (а в их лице – всё поколение, разбуженное военными испытаниями и Победой). Самый опасный его слой представляли партийные работники – они ближе всех стояли к реальным рычагам власти на местах, быстрее всех могли осуществлять (или, наоборот, блокировать) социальные перемены. Следующие за ними по степени опасности – представители «творческой интеллигенции». Похоже, партия не забыла ни горьковской формулы о писателях – «инженерах человеческих душ», ни мечты В. В. Маяковского, «чтоб к штыку приравняли перо». Приравняли – с соответствующими оргвыводами.

Выбор конкретных писательских фигур, публичную экзекуцию которых сделали уроком для других, основывался, думается, на двух критериях. Выбирались мастера слова, мало защищённые: не обладавшие ни весомыми регалиями, ни высокими покровителями. Одновременно они были достаточно заметны: один (М. М. Зощенко) как сатирик, другая (А. А. Ахматова) как лирик. Оба, таким образом, владели механизмами наиболее сильного воздействия на читателя: способностью вызывать смех – и слёзы.

И всё же загадки остались. Для «партмальчика» А. А. Жданова – не слишком ли тонкий выбор объектов экзекуции и изощрённая процедура устрашения? Похоже, помимо названных нами целей, были ещё две. Одна – явная и идеологическая. Другая – самая личная и потому самая затаённая.

Ахматову хотели, во-первых, демонстративно оторвать от «советского народа», во-вторых, – публично унижить. Ни у одного партийного функционера, от 1946 года до года 1959-го, этой последней цели быть не могло. Подобную цель мог преследовать только кто-то из «своих», из «ближнего круга», из «творческой интеллигенции». Кто-то хорошо знавший не одну лишь современную ситуацию, но также историю и предысторию советской литературы (в частности, её Серебряный век и 1920-е годы). Ясно понимавший истинный масштаб обоих – избранных для аутодафе – художников слова. Поэтому вряд ли случайно в «партдоклад» были вставлены раскавыченные отсылки к ахматовским строкам о «бражниках» и «блуд-

нищах» или о «беснующейся совести» из стихотворений 1913 и 1916 годов, которые так странно и трагически отозвались спустя 30 и более лет.

Не будем строить догадок: кто бы мог быть этим секретным ждановским соавтором? Здесь желательны безусловные данные. Однако само направление исследовательского поиска, с нашей точки зрения, не может не учитывать следов, оставленных неведомым (пока!) персональным ненавистником – или завистником? – Ахматовой. Причём посвящённым в некоторые потаённые особенности её внутреннего мира и даже религиозных предпочтений (всё то же обвинение в посещениях «моленной»!).

Итак, некоторые из заданных нами вопросов получили ответ. Обратимся теперь к другим вопросам, тоже требующим объяснения. Почему восьмистишие Ахматовой родилось именно в 1959 году? Какие обстоятельства заставили поэта вспомнить об «анафеме» именно в ту пору? Откуда пришли в октет два топонима в предпоследней строке: Либава и Владивосток? Что они означают в ахматовском историко-биографическом и историко-литературном контексте?

Анафема. Начнём со слова наиболее экзотичного, прежде других притягивающего читательское внимание: с «анафемы». Уместно ли оно применительно к партийной критике? Слово это греческого происхождения и в буквальном смысле означает «изгнание», «проклятие». В христианстве анафема – оглашённое вслух отлучение человека от Церкви, отвержение его обществом верующих, но от имени самого Бога [16, с. 48; 3, т. I, с. 16]. Окончательно догматическое значение слова было установлено IV Халкидонским Вселенским собором в 451 году. Анафема предполагает запрет на совершение над отверженным Таинств (причастия, соборования, отпевания) и поминовений (о здравии, а после смерти – за упокой). Таким образом, верующий теряет всякий шанс на спасение души, поскольку до и помимо анафемы он сам своими действиями поставил себя вне Церкви.

Анафема за «антихристовы деяния» накладывалась, например, на Гришку Отрепьева (1604 г.), на старообрядцев (Соборы 1656, 1666 и 1667 гг., снята в 1929 и 1971 гг.), на Стеньку Разина (1671 г.) и Ивана Мазепу (1708 г.), на Емельяна Пугачёва (1775 г.) и декабристов (1825 г.), на Льва Толстого (1901 г., эта анафема не была оглашена, значит, не была и реализована) и на В. И. Ленина (Русской Православной Церковью за границей в 1970 г.). На Западе, кроме многих иных случаев, анафеме были преданы на Ватиканском соборе (1870 г.) материализм и атеизм.

Хотя доктринально и на христианском Западе, и на христианском Востоке анафема лишь официально констатировала отпадение человека от Церкви и являлась чисто религиозным актом, на практике она часто использовалась как политическое наказание. В теократических государствах исключение человека из церковной общины, запрет на религиозный контакт с ним подразумевают невозможность для отверженного выполнять какие-либо гражданские юридические процедуры. Тем самым они ставят человека вне закона. То же самое происходило с М. М. Зощенко и А. А. Ахматовой в СССР как парткратическом государстве. Их идеологическое «отлучение» в результате постановления 1946 года формально не лишало писателей права работать и получать хлебные карточки. Но ровно через две

недели двух отщепенцев, «не желающих идти в ногу со своим народом», исключат из Союза писателей СССР. А вот это уже оставит их обоих и без профессионального заработка, и без хлеба.

Важно помнить, что анафема – это не просто ритуализированное проклятие-заклятие, оглашаемое устами священнослужителей. Главное для упорствующего в грехе состоит в том, что его проклятие – вечное, оно не смываемо. Вероятно, потому Ахматова и назвала осудительные документы 1946 года «анафемой»: отлучением «всесоюзным» географически и «вечным» исторически. Как всегда, слова свои она употребила точно. Постановление переживёт поэта и будет отменено лишь через 22 года после её смерти.

Однако не преувеличивает ли поэт резонанса этой анафемы? Действительно ли она «гудела» на шестой части планеты Земля – на огромном пространстве Советского Союза? Нет, Ахматова не преувеличивает. И достигалось это «грозное гудение» хорошо отлаженным способом: через всепроникающую систему школьного и вузовского гуманитарного образования, через партийные и комсомольские печатные органы, через густую сеть «политпросвещения» и «университетов марксизма-ленинизма» (а они имели собственную систему печатных изданий), также через отделения общества «Знание» и многочисленные Бюро пропаганды советской литературы. Вся эта громада в полном смысле охватывала целую страну. Подтверждается это библиографически. Достаточно пересмотреть ежегодные переиздания (причём огромными тиражами!) разного рода обществоведческих учебников и учебных пособий, хрестоматий и «блокнотов агитатора», включавших в себя как постановление 1946 года, так и доклад А. А. Жданова. Помимо этого, сам доклад (и тоже ежегодно) переиздавался Госполитиздатом отдельной брошюрой, и не только в Москве, а и в столицах союзных республик, и в областных центрах. Так, даже спустя 6 лет, в августе 1952 года, доклад вышел в столице страны изданием, тираж которого составлял 500 000 экземпляров. Совокупному же тиражу ждановского доклада – всех форм и лет издания – могли бы позавидовать А. С. Пушкин вместе с Л. Н. Толстым и Ф. М. Достоевским.

Пропагандистская кампания, связанная с «антиахматовским» постановлением, оставила долгий след в памяти школьников и студентов 1940-х – 1960-х годов. Сама Ахматова в 1959 году заносит в рабочую тетрадь такое свидетельство: «<...> уже тринадцать раз во всех учебных заведениях Союза от Мурманска до Термеза и от Владивостока до Калининграда в мае, перед концом учебного года в лекции (или уроке) об акмеизме моё имя предается анафеме. Таким образом молодёжь, выслушавшая этот урок в 10-м классе (как моя Аня [А. Г. Каминская, дочь И. Н. Пуниной. – Авт.] в прошлом году), снова слушает ту же лекцию через год-два в своём ВУЗе (как Боря Ардов третьего дня)» [2, т. 2, кн. 2, с. 340].

Аналогичное свидетельство того, как штудировали постановление школьники украинского города Николаева, оставила нам двояродная племянница Ахматовой по линии отца – С. А. Пеганова. Приводит его евпаторийский краевед Л. Л. Никифорова [13, с. 155]. Об оценке «отлично», выставившейся школьникам Молдавии за знание того же постановления, рассказывает Т. А. Жирмунская [7, с. 8]. Да любой ахматовед, поговоривши

с коллегами, которые получали среднее образование в 1950-е, 1960-е и даже в 1970-е годы, услышит похожие примеры.

Такова была «география отвержения» Ахматовой «обществом верующих» в слово партии. В своём восьмистишии поэт лишь отметит её границы: анафема гудела «от Либавы» (крайний Запад) – «до Владивостока» (крайний Восток). (А в дневниковом варианте ещё и «от Мурманска» (крайний Север) – «до Термеза» (крайний Юг)). Структурно эти формулы повторяют лозунг «великопольских державников»: «Польша от моря и до моря!». Впоследствии та же формула будет часто встречаться в массовых советских песнях: «С южных гор до северных морей...» Все эти «географические» клише восходят к мифопоэтическому взгляду на родное пространство как бы с высоты птичьего полёта. Подобная особенность была отмечена ещё в литературе Киевской Руси («Слово о полку Игореве», «Слово о законе и благодати» и др.) академиком Д. С. Лихачёвым и другими медиевистами [11; 23].

Но, может быть, партийная «анафема» начала стихать хотя бы к «хрущёвскому» 1959 году? Стоило ли именно в этом году вспоминать о ней патетично, всерьёз, как это сделала Ахматова?

Поиск отгадки в ближайших ахматовских контекстах: историко-социальном и историко-литературном. Возьмём хотя бы предшествующий 1958 год.

Апрель – начинает выходить газета «Литература и жизнь», будущая «Литературная Россия». Ахматову она уже не громит. Но и не печатает.

Сентябрь – открывается IV Международный съезд славистов в Москве. По сути, это первый интернациональный славистический конгресс после эпохи «железного занавеса». Показательно, что он же был и первым съездом славистов после войны: попытка проведения конгресса в 1948 году сорвалась из-за разрыва советско-югославских отношений. Докладов об Ахматовой-поэте на IV съезде нет. Тогда, быть может, они есть об Ахматовой – переводчице славянских национальных классиков? Болгарки Елисаветы Багряны (1893–1991), поляка Владислава Броневского (1897–1962), украинца Ивана Франко (1856–1916)?.. Нет, и о такой Ахматовой докладов нет тоже.

Аналогичным был и сентябрь предыдущего, 1957 года. В этом месяце пройдёт дискуссия о поэзии между русскими и итальянскими писателями (Рим – Москва). Приглашена ли на неё автор работ о Данте, переводчица Джакомо Леопарди (1798–1837), побывавшая в Италии ещё в 1912 году – раньше, чем кто-либо из советских участников этой дискуссии? Итальянцами приглашена, советским руководством в состав делегации не включена.

Декабрь всё того же 1958 года – собирается Учредительный съезд создаваемого (наконец-то!) Союза писателей РСФСР. Он также проходит без Ахматовой.

Таковы «нуль-факты» литературной хроники 1958 года. Так выглядит «анафема» через 12 лет после постановления 1946 года. Теперь Ахматову не проклинают, ибо на литературной карте страны её просто нет.^{1*}

^{1*}Визуальная аналогия подобного безмолвно вопиющего «пробела», оставленного (перифразируя Б. Л. Пастернака) и «в судьбе», и «среди бумаг», – тогдашняя карта РСФСР (см., например, [1, с. 5-6]). Вся северная и северо-восточная зона лагерей – от востока Коль-

Зато есть факты иного порядка.

В 1953 году ведущая партийная газета страны «Правда» начинает печатать главы из новой поэмы Александра Твардовского «За далью даль». Среди них есть главка «Так это было», о смерти Сталина. И другая главка, о встрече где-то на далёком полуостанке с безымянным другом. Пропадшим на много лет, а теперь случайно увиденным – в ватнике, с деревянным ящичком-чемоданчиком и пепельным взглядом не до конца воскресших глаз.

Впервые не одним лишь «простым советским» читателям, а и непростому Президиуму ЦК КПСС и Правительству СССР поэт прямо напомнил, что Смерть умеет входить без пропусков даже в Кремль. Мало того: напомнил, что существует (по-лермонтовски говоря) «Божий суд», на котором никого из лишённых личного имени, личного голоса и даже личной могилы уже нельзя заставить замолчать. Но разве не то же утверждал ахматовский «Реквием»? Оконченный давным-давно, ещё в 1940 году, однако не опубликованный ни 13 лет, ни 19 лет спустя.

Начиная с 1940-х, духовное пространство СССР заполняется поэзией, прозой, драматургией фронтовиков, партизан и блокадников. Не все из них доживут до Победы, а те, кто и доживёт, зачастую вернутся инвалидами. От этого вес их художественного слова многократно возрастет. Нет, они не «отменяют» Ахматову: ни её позднего трагизма, ни её поздней «новой классичности». Как не отменяют её строк ни вышедшие в 1957 году стихотворения репрессанта Н. А. Заболоцкого, ни колымская проза В. Т. Шаламова, ни ГУЛАГовская публицистика А. И. Солженицына. Как не заслонит «Поэмы без героя» ни лирический историзм Я. В. Смелякова, ни «пушкинизм» Д. С. Самойлова, ни гротескный, горчащий юмор позднего М. А. Светлова и других воротившихся из забвения «стариков». Но все они стали в конце 1950-х фактом – и фактором – живого литературного процесса. Пускай с опозданием, пускай урывками или через «самиздат» и «тамиздат». Они – стали. Она – нет.

Это позволит Р. Д. Тименчику жестко, но точно заметить про эпоху конца 1950-х: «Ахматовские стихи в это время становятся каталогом обид» [19, т. 1, с. 134].

И тогда же случились два события, несомненно всколыхнувшие ахматовскую память об «анафеме». Одно событие большая страна вряд ли заметила. Второе не сходило с газетных полос и действительно «гудело» на всех трудовых, партийных и комсомольских собраниях «страны Советов». Скорее всего, второе событие послужило причиной первого.

В 1958 году умер Михаил Зощенко – младший «товарищ» Ахматовой по Петербургу-Ленинграду, «по музам» и «по судьбе». Один из двух персональных адресатов постановления 1946 года (а по очередности нападок – первый).

После начала хрущёвской «оттепели» М. М. Зощенко мог надеяться на отмену «анафемы». Но «оттепельные» надежды похоронило другое, куда

ского полуострова, от Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и до севера Чукотского автономного округа и востока Хабаровского края – зияет девственной пустотой. На карте в этих местах словно бы нет ничего и никого. Причем так будет в изданиях даже 1970-х годов.

более громкое событие. Появился новый, гораздо более опасный «еретик» – Борис Пастернак. В 1957 году его роман «Доктор Живаго» был опубликован за границей – сначала в Италии, потом в Голландии и Великобритании (при содействии философа и дипломата, давнего знакомого Анны Ахматовой, «гостя из будущего» в её «Поэме без героя», сэра Исаяи Берлина). За короткое время книга была переведена на многие языки. 23 октября 1958 года автору романа была присуждена Нобелевская премия. Немедленно в советской прессе появились «письма трудящихся», требовавших, чтобы «литературного власовца» лишили советского гражданства и выслали за границу. Пастернак, первоначально поблагодаривший Нобелевский комитет за премию, через четыре дня вынужден был от неё публично отказаться. Это, однако, ничего не изменило. Поэт был исключён из Союза писателей СССР, шумные собрания и громкая травля в прессе продолжались. 30 мая 1960 года Борис Пастернак умер от скоротечного рака лёгких.

Далеко не всегда при анализе творчества какого-либо поэта исследователи учитывают этот «живой контекст»: присутствие в его судьбе и поэтике творческих судеб других художников слова. Речь не только о глубоко литературной традиции: об учителях или преемниках, о соратниках или соперниках. Речь именно о людях – с их поступками и проступками, с их собственными драмами и победами, бросающими отблеск на драмы и победы каждого, кто живёт рядом.

Такой диалог судеб между А. А. Ахматовой и Б. Л. Пастернаком шёл годами – незримо и нелегко. Всё в том же 1959 году двум поэтам довелось встретиться напрямую, в обществе людей, обоим им симпатичных и симпатизирующих. Отмечался день рождения (21 августа) сына Всеволода Иванова – Вячеслава Всеволодовича («Комы», как звали его близкие). Ахматова (по воспоминаниям Е. Б. Пастернака) поделилась новостью: она, «непечатная», получила приглашение из газеты «Правда» прислать свои стихи. Стихи послала, их не опубликовали. Ахматову спросили: какое же стихотворение она послала? В ответ та прочла «Летний сад». После чего Борис Пастернак сказал, «что если бы «Правда» напечатала это стихотворение, она должна была бы совершенно перемениться с этого дня, а литературная страница – выходить в кружевных оборках или вся розовая» [20, с. 538].

Сама Ахматова пересказывала этот эпизод несколько иначе. После того, как она прочитала свои стихи, Борис Пастернак (сидевший от неё вдали) будто бы спросил «во весь голос через весь стол: “Что вы делаете со своими стихами? Раздаёте друзьям?”» [21, с. 274].

Возможно, оба варианта пастернаковской реплики прозвучали на самом деле не столь бестактно, как оно выглядит в пересказе. Быть может, в первом случае он всего-навсего хотел сказать, что стихи Ахматовой в «Правде» смотрелись бы невероятно: как сама главная партийная газета страны, если бы она выходила на розовой бумаге и в оборочках. А во втором варианте Б. Л. Пастернак, опять-таки, мог всего-навсего поинтересоваться, где Ахматова хранит свои неопубликованные произведения: у себя дома или у друзей? Однако и тогда была бы в глаза разница между Б. Л. Пастернаком, с его широким («Не надо заводить архива, / Над рукописями трястись», 1956) жестом человека, печатающегося достаточно регулярно, и Ахматовой, чей

«Реквием» нельзя было хранить даже «в архиве». Можно было только самым надёжным друзьям выучить текст поэмы по кусочкам наизусть, а остальные тексты – от 1920-х (!) годов и до годов 1960-х (!) – и впрямь держать в «рукописях». Задеть Ахматову могла не «бестактность», а детски простодушная забывчивость Б. Л. Пастернака. Уже попавшего под собственную «анафему», но всё равно явно не соизмерявшего своё писательское положение с положением ахматовским.

Смерть Б. Л. Пастернака выровняла масштабы их социального неблагополучия. После этого обиды у Ахматовой уже не осталось – осталось стихотворение «Смерть поэта». Очень тихое, очень «пейзажное». От цензуры Ахматова зашифровала его трижды: безымянностью адресата, отсутствием политических реалий и нарочито «неправильной», сдвинутой датировкой текста. Перекликались, правда, два названия: ахматовской тихой элегии и лермонтовской громокипящей инвективы. Там и там стихи назывались «Смерть поэта»; в обоих названиях звучала «грозная анафема» всем, «жадной толпой» стоявшим «у трона». К счастью, в 1960-м году власти об этом многозначительном сходстве названий едва ли подумали...

Остаётся сказать об ахматовских топонимах. В рабочей записи перечислены четыре города (Мурманск, Термез, Владивосток, Калининград), и это география (север, юг, восток, запад). В восьмистишии городов всего два (Либава и Владивосток), но это уже история. История страны, история её культуры и литературы.

Либава. Это название ведёт нас в дореволюционное прошлое. После 1917 года появляется современный топоним (урбаноним) Лиепая, обозначающий город на юго-западе Латвии. У прежнего топонима был параллельный немецкий вариант именования – Либав, напоминающий нам, что в координатах германской истории это город на северо-востоке Пруссии.

Три варианта одного имени отражают сложную историю города и всего края. Его древнейшее население, пруссы, – балтийское племя летской группы. Прусы были завоеваны Тевтонским орденом и германизированы. Позднее его земли вошли в состав Королевства Пруссии, затем Германской Империи, потом Латвийской Республики, наконец Латвийской ССР. Дальнейшая история Либавы-Лиепай выходит за границы жизни Ахматовой.

Какое же отношение имел этот балтийский город к ахматовской биографии? И не просто к биографии, но к одной из наиболее драматичных её страниц?

В хронике Первой мировой войны небольшой городок на Балтийском взморье занимает своё время и место. Время это – 1914 год. Место – поля сражений восточноевропейского фронта. В августе-сентябре 1914 года русская армия вела ожесточённые бои против германских и австро-венгерских войск в Восточной Пруссии и Галиции. В этот же период добился своей отправки на фронт муж Ахматовой Н. С. Гумилёв и остро стоял вопрос о призыве на военную службу её близкого друга М. Л. Лозинского. В итоге на фронт его не возьмут по состоянию здоровья. Всё это наполняло Ахматову предощущением беды, что получило отражение в написанном тогда же стихотворении «Утешение». Адресатом его, как обоснованно полагает О. Е. Рубинчик, был именно М. Л. Лозинский: «“Утешение” задаёт архетипическую ситуацию. И строки «В объятой пожарами, скорбной Польше / Не найдешь могилы

его» стоит рассматривать с этой точки зрения. Дата под первыми строфами стихотворения – 19 августа 1914 – отмечает ровно месяц с момента, когда (по старому стилю) Германия объявила войну России. В это время уже шли бои русских войск с австро-венгерскими на территории Польши. Потери русских были велики, так что Ахматовой, не раз в своей творческой биографии бравшей на себя «роль рокового хора», было кого оплакивать» [14, с. 111].

Так восстанавливается живая, притом личная связь между 1914 годом (топоним), 1946-м («анафема») и годом 1959-м (оставшийся в архиве экспромта). Как мы не раз уже убеждались, такого рода межвременные связи у нашего поэта – явление характерное. Историзм Ахматовой обострённо автобиографичен. Зато и биографизм, и лиризм её художественного мышления подчёркнуто историчны. Думается, как раз потому история по-ахматовски так часто и так стремительно перетекает в «личный миф».

Не менее сложна, многослойна адресация анализируемого экспромта – его диалогизм.

Неоднократно Ахматова проецировала сугубо личные, порой интимные сюжеты своего житья-бытья на самые грандиозные катаклизмы отечественной и мировой истории. Скажем, уезжает за границу друг и поклонник Ахматовой художник Борис фон Анреп. Происходит это в канун революции и гражданской войны; ничего удивительного, мифологического или мистического в его отъезде нет. Несмотря на неизбежный привкус политизма, в целом событие это скорее из области гастарбайтерства (Анреп станет в Западной Европе успешным мозаичистом), чем политэмиграции.

Не то видим и слышим мы в стихах Ахматовой, отразивших Анрепов отъезд («Мне голос был. Он звал утешно...», 1917). Конкретный человек по имени Борис, по фамилии Анреп из текста исчезает. Он истончается до бесплотного «Голоса». Голос этот звучит, опять-таки, не в каком-либо из бытовых регистров. Он доносится из неких «областей заочных» как глас неземного Искусителя. Диалог Его с Ахматовой происходит на фоне апокалиптического пейзажа «приневской столицы» – Петербурга, доживающего последние имперские дни. Магнетизм ритмики и фоники этого Голоса прямо напоминает монолог-колыбельную лермонтовского Демона. Однако и Ахматова как лирическая героиня не остаётся одинокой, «частной» женщиной. Структурно и эмоционально она объединяется в стихотворении с Россией, а её частная любовная история превращается в легендарно-мифологическую Историю века. Такую же метаморфозу претерпели другие ахматовские истории, другие диалоги: с Николаем Гумилёвым, Александром Блоком, Осипом Мандельштамом, Николаем Пуниным, Исайей Берлиным...

Многие годы, даже десятилетия, Ахматова ощущала поддержку и помощь «друга всей жизни» (как скажет она на юбилейном вечере Данте) М. Л. Лозинского. В 1959-м его рядом с ней не было уже четыре года. Однако не вспоминать об их дружбе и сотрудничестве она не могла. Стихи «Утешение» – поразительный документ их юности, их совместного творчества, но и войны, и «объятой пожарами» Польши (точнее, Пруссии и Галиции): фронта, на который ушёл муж Ахматовой, Николай Гумилёв, и должен был уйти её верный рыцарь, Михаил Лозинский. «Либава» – короткое, старомодное слово-напоминание, слово-пароль и пропуск в ту войну, в ту юность. Оно, с одной стороны, поддержало горечь эпиграммы-экспромта 1959 года,

подчеркнуло всю фальшь обвинений Ахматовой в нехватке верности, достоинства и патриотизма. С другой стороны, это слово, поставленное в начале строки, на сильную позицию, – слово, внятное лишь своим, не запятнанным собственной честью, – объединило живую (но как бы заживо похороненную) Ахматову с мёртвыми (но уже вечно живыми) поэтами, переводчиками, художниками, филологами.

Если Либава – это память о М. Л. Лозинском, то Владивосток, как нам думается, – это память, с одной стороны, о младшем брате поэта – Викторе Горенко. Мичман Черноморского флота, покинувший Севастополь в ночь перед началом массовых расправ с офицерами, после долгой дороги прибывает в этот город в марте 1918 года. В. А. Горенко оставит Владивосток с приходом красных в 1922 году, перебравшись сначала на Сахалин, а потом через Китай в США. Через тихоокеанскую столицу России покидали страну во время гражданской войны многие представители творческой интеллигенции из окружения Ахматовой.

С другой стороны, Владивосток – это память об О. Э. Мандельштаме. Именно в этом городе, в пересыльном лагере на Второй речке оставит в 1938 году земной мир младший друг и современник Ахматовой.

«Не бойся; подойди...» – окликнул Анну Ахматову в 1916 году Николай Недоброво, уходя «в царство тени». И она не испугалась. В 1959 году Ахматова не испугалась снова. Она опять смогла подойти к роковой черте и ответить на оклик оттуда – собственным мужеством и собственным творчеством.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Атлас СССР. – 2-е изд. – М. : Главное управление геодезии и картографии МВД СССР, 1955. – 147 с.
2. Ахматова А. А. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 7 (дополнительный) / А. А. Ахматова. – М. : Эллис Лак, 2004.
3. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV / В. И. Даль – М. : Русский язык, 1978–1980.
4. Данте Алигьери. Божественная Комедия / Алигьери Данте ; пер. с ит., вступ. ст. и комм. М. Л. Лозинского. – М. : Эксмо, 2012. – 864 с.
5. Дружинин П. А. Идеология и филология : Ленинград, 1950-е годы : Документальное исследование. Т. 1 / П. А. Дружинин. – М. : Новое литературное обозрение, 2012. – 588 с.
6. Жданов А. А. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград» / А. А. Жданов. – М. : Госполитиздат, 1952. – 32 с.
7. Жирмунская Т. А. «Во мне печаль, которой царь Давид / По-царски одарил тысячелетья...» (А. Ахматова) / Т. А. Жирмунская // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество : Крымский Ахматовский науч. сб. – Симферополь : Крымский Архив, 2010. – Вып. 8. – С. 6–33.
8. Казарин В. П. А. Ахматова. Данте. Крым : (К постановке проблемы) / В. П. Казарин, М. А. Новикова // Вопросы русской литературы : межвуз. науч. сб. – Симферополь, 2014. – Вып. 29 (86). – С. 5–22.
9. Казарин В. П. Стихотворение А. А. Ахматовой «Вижу выцветший флаг над таможей...» : (Опыты реального и поэтологического комментария) / В. П. Казарин, М. А. Новикова. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2014. – 49 с. : ил.
10. Лихачёв Д. С. Воспоминания / Д. С. Лихачёв. – СПб. : Logos, 1995. – 519 с. : ил.
11. Лихачёв Д. С. Исторический и политический кругозор автора «Слова о полку Игореве» / Д. С. Лихачёв // Слово о полку Игореве : сб. исследований и статей / под ред. В. П. Адриановой-Перетц. – М. ; Л. : АН СССР, 1950. – С. 5–52.

12. Лукницкий П. Н. Дневник 1928 года. Асуміана. 1928–1929 / П. Н. Лукницкий ; публ. и комм. Т. М. Двинятиной // Лица : биографический альманах. – СПб., 2002. – Т. 9.
13. Никифорова Л. Л. Анна Ахматова в истории одной крымской семьи / Л. Л. Никифорова // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество : Крымский Ахматовский науч. сб. – Симферополь : Крымский Архив, 2011. – Вып. 9. – С. 150–157.
14. Рубинчик О. Е. «Уж не Лозинский ли?»: Об адресате ряда стихотворений Анны Ахматовой / О. Е. Рубинчик // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество : Крымский Ахматовский науч. сб. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2014. – Вып. 12. – С. 107–117.
15. Руденко М. С. Религиозные мотивы в поэзии Анны Ахматовой / М. С. Руденко // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. – 1995. – № 4. – С. 66–77.
16. Словарь иностранных слов. – Изд. 3-е, перераб. и расш. – М. : Изд-во иностранных и национальных словарей, 1949. – 804 с.
17. Схимонахиня Николая. Великая страдальница и молитвенница Анна Ахматова – духовная дочь праведного старца Николая (Гурьянова). – Сайт «Русский вестник» (ru.ru). – 26.06.2011.
18. Темненко Г. М. Анна Ахматова : Опыты интертекстуальных и имманентных прочтений / Г. М. Темненко. – Симферополь : Ариал, 2013. – 475 с.
19. Тименчик Р. Д. Последний поэт: Анна Ахматова в 60-е годы : 2 т. / Р. Д. Тименчик. – Изд. второе, испр. и расш. – М. ; Иерусалим : Мосты культуры : Гешарим, 2014–2015.
20. Черных В. А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой : 1889–1966 / В. А. Черных. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Индрик, 2008. – 768 с. : ил.
21. Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. 1952–1962 / Л. К. Чуковская. – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб. ; Харьков : Журнал «Нева» : Фолио, 1996. – 656 с.
22. Шкаровский М. В. Община Никольской единоверческой церкви Петрограда в 1920-е – начале 1930-х гг. / М. В. Шкаровский // Правда Православия. – 2013. – № 1 (74).
23. Шохин К. В. Очерк истории развития эстетической мысли в России : (Древнерусская эстетика XI–XVII вв.) / К. В. Шохин. – М. : Высш. шк., 1963. – 116 с.
24. Шумило С. В. В катакомбах: Православное подполье в СССР / С. В. Шумило. – Луцк : Терен, 2011. – 272 с.

ВЛАДИМИР КАЗАРИН, МАРИНА НОВИКОВА

«... ГРОЗНАЯ АНАФЕМА ГУДИТ» (ЗАГАДКИ ОДНОГО АХМАТОВСКОГО ВОСЬМИСТИШИЯ)

В статье рассматривается неопубликованный при жизни экспромт А. А. Ахматовой 1959 года: одна из поздних рефлексий поэта на известное постановление ЦК ВКП(б) 1946 года, подвергшее погромной критике творчество Анны Ахматовой и Михаила Зощенко и не отменённое вплоть до 1988 года. Прокомментированы в историко-социальном и историко-литературном контекстах ключевой ахматовский символ «анафема» и ключевые реалии-символы «Либавя» и «Владивосток». Анализ обнаружил, что указанное восьмистишие обладает огромными интертекстуальными, а также интербиографическими связями. Его ассоциативно-историческое поле пространственно раскинуто от Восточной Пруссии и Литвы в Европе до Средней Азии и Дальнего Востока, а во времени простирается от инквизиции Средневековья через большевизм, как своего рода религиозную институцию, через I Мировую войну и Исход, воспринимаемые Ахматовой как звенья единой Российской Катастрофы, и далее через трагедию художников слова и в «граните» империи, и в «жестокой тупости» репрессивного режима. В противовес этому хронотопу забвения и смерти Ахматова создаёт хронотоп вечно живых творцов и друзей, побеждающих не насилием, а памятью.

Ключевые слова: А. А. Ахматова, М. М. Зощенко, М. Л. Лозинский, О. Э. Мандельштам, Б. Л. Пастернак, восьмистишие 1959 года, «анафема», интертекстуальные/интербиографические связи, «оттепель», мотив памяти/забвения как жизни/смерти.

VLADIMIR KAZARIN, MARINA NOVIKOVA

«... A TERRIBLE ANATHEMA IS ROARING»
(RIDDLES OF ONE OF AKHMATOVA'S OCTASTICH)

The paper examines the unpublished (within her life) verse by Anna A. Akhmatova (1959). It is one of the late poet's reflections on the ill-famed Soviet Communist Party's Central Committee Resolution (1946). This document contained pogrom-like criticism of Akhmatova's and Zoschenko's literary practice. It had not been denounced up to 1988.

Thus, Akhmatova's key symbol "anathema" and references "Libava (now Liepaja, former Libau)" and "Vladivostok" are commented in historical, social and literary contexts. The analysis proves that a visually small octet possesses immense intertextual and interbiographic links. Its associative field embraces topos from East Prussia and Litva in the European West to the Middle East and the Far East in Asia. As to its chronos, it involves the Middle Ages, with their Inquisition, then Bolshevism as a sort of religious institution, to World War I and the White Exodus (Outcoming, Emigration). Akhmatova had treated them as elements of the total Russian Catastrophe. To them she added the cultural tragedy, from both "the imperial granite" and "the heartless stupidity" of the repressive regime. As a contrast to this chronotopos of oblivion and death Akhmatova creates her own chronotopos, inhabited by the eternally alive artists and friends who win their victory not through violation, but through memory.

Key words: A. Akhmatova, M. Zoschenko, M. Lozinsky, O. Mandelstam, B. Pasternak, octet (1959), «the anathema», intertextual and interbiographic links, «the thaw», memory/oblivion as an equivalent to life/death.

Одержано 16.05.2016 р.